

УДК 882(091)-3

С.В. Лапунов

Образ противника в русском военном рассказе XIX века

Проблема восприятия противника в художественной литературе — часть широкой историко-психологической проблемы «свой-чужой», до предела обостряющейся в ситуации войны. Вопрос о том, как относиться к врагу, всегда был частью переживаний человека, находящегося в условиях боя. Точно так же он становится одним из центральных в художественных произведениях на военную тему.

В условиях военного противостояния абстрактный образ не до конца понятного «чужака» «оборачивается вполне конкретными проявлениями несчастий. ...Отсюда и преобладание эмоционально-субъективного начала в оценках противника: те его качества, которые у своих оцениваются как исключительно позитивные, применительно к врагу рассматриваются, как правило, в негативном ключе» [1]. Идеологическая задача подобного образа врага одна: доказать, что враг всегда «плохой», что его можно и нужно убивать, иначе война станет нравственно и психологически невозможной.

В русском фольклоре «чужак» как таковой не вызывает чувства ненависти. К примеру, в одном из вариантов былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» отец Ильи дает сыну такой наказ:

Поедешь ты путем и дорогою –
Не помысли злом на татарина,
Не убей в чистым поле хресьянина [2].

Во врага «чужак» превращается только тогда, когда открыто презирает русские обычаи и веру или посягает на них с оружием в руках. В той же былине Илья Муромец нарушает завет отца, видя, что «рать-сила великая», стоящая у стен Чернигова, хочет «черных мужичков да всех повырубить» и «церкви Божии на дым спустить» [2, с. 58]. При этом богатырь чувствует вину, потому что пришлось «батюшку супротивником быть» [2, с. 371].

В русском фольклоре, как и в древнерусской литературе, враг «всегда силен, многочисленен, жесток и коварен, но зачастую глуп и обязательно некрасив» [1, с. 153]. Если собственные победы объясняются естественным превосходством в воинской доблести и силе духа, то поражения – невезением или Божьим наказанием за грехи. При создании образа врага особенно важно противопоставление по религиозному признаку: противник – прежде всего враг веры («безбожный», «поганый», «нехристь»), зачастую этим бахвалящийся. Именно таким предстает, к примеру, в одной из народных песен, посвященных Крымской войне, француз:

А француз-от говорил:
«На Москву-город пойду,
На Москву-город пойду,
Со церковей кресты сорву,
Всех московских инаралов
Во полон заберу,
А московских красных девушек
Солдатам раздарю!» [3].

Новые акценты в художественном изображении противника появляются в русской литературе с первой половины XIX века. Так, швед в пушкинской «Полтаве» – это уже не прежний «супостат», но «строгий учитель», противник, достойный «заздравного кубка» на пиру Петра. Поражение от такого противника – не «Божья кара», а испытание, закалившее государство и его правителя, ибо

... в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь... [4].

В русской прозе 2-й половины XIX века пространство войны превратилось в сферу нравственных исканий. Обращение к внутреннему миру человека, находящегося между жизнью и смертью, усложнило проблему отношения к противнику и ее художественное воплощение. Прежде всего художественные особенности изображения противника напрямую связаны с личным боевым опытом авторов. ««Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Четыре дня» Гаршина волнуют нас потому, что овеяны дыханием войны, которую названные авторы пережили и переиспытали...» [5], – отмечал А.И. Куприн, не понаслышке знакомый с армейской средой.

Одним из психологических факторов восприятия противника является отношение к условиям и обстоятельствам восприятия, включающее степень участия субъекта в боевых действиях, его принадлежность к роду войск [1, с. 254-256]. В значительной степени на изображение противника Толстым-

писателем оказал влияние боевой опыт Толстого-артиллериста. И для кавказских, и для севастопольских рассказов характерно то, что враг в них показан издали, чаще всего с расстояния пушечного выстрела. Так, например, изображено первое столкновение с горцами в «Набеге»: внезапно в ущелье «немного впереди нас, ...зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик» [6]. В «Рубке леса» о появлении горцев дают знать орудийные выстрелы: «Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма...» [6, с. 67]. Показывая читателю осажденный Севастополь («Севастополь в декабре месяце»), рассказчик замечает «... далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря» [6, с. 82]. Главная примета присутствия противника в севастопольских рассказах — артиллерийский огонь и его последствия. При этом, описывая результаты артиллерийских дузлей, автор доверяет мнению самих солдат-артиллеристов — *«будничных людей, спокойно занятых будничным делом»* [6, с. 90. — Курсив наш. — С.Л.]. На эту будничность встречи с врагом указывает и автор: «Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть на неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что... этот-то белый вал и есть неприятель — он, как говорят солдаты и матросы...» [6, с. 98. — Курсив автора]. «Он» — так называют неприятеля герои военных рассказов Л.Н. Толстого. Именно это «он», часто выделяемое авторским курсивом, подчеркивает *спокойную* решимость людей, каждую минуту готовых умереть: «Это он с новой батареей нынче палит», — прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку» [6, с. 89. — Курсив автора.].

О своем спокойствии при виде врага пишет и В.М. Гаршин в очерке «Аясларское дело». Таким предстает противник, увиденный через прицел винтовки: «Турки собрались внизу котловины... в колонны и шли на наши цепи в атаку. Прицеливаться стало ближе. Я также не жалел патронов, потому что целить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, падали, но все-таки шли» [7]. В сознании идущего в атаку возникает лишь одно «неотвратимое побуждение идти вперед, во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее: нужно умереть» [7, с. 188] («Из воспоминаний рядового Иванова»).

Разумеется, в бою герои военных рассказов дают и более резкую оценку действиям противника, но это не столько выражение презрения, сколько поглощенность ходом и результатами боя. Так, например, оценивают происходящее в бою герои «Рубки леса»:

— Вишь выпалил, братцы мои!

— Должно в нашу цепь, прохвост!...

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудью поставить хотят... Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали... [6, с. 63].

Точно так же оценивают происходящее и герои военной прозы В.М. Гаршина. Возвращающиеся из боя солдаты «...едва брели, ничего не отвечая на наши вопросы: много ли турок, силен ли огонь. Только некоторые тихо говорили: «Дай вам господи! И-и-и, как жарят!»» [7, с. 331] («Аясларское дело»). Раненый солдат переживает события недавнего боя: «В буераке сидят; патронов у них — так и сеют, так и сеют... Да нет! — вдруг злобно закричал раненый, привстав и махая больной рукой: — Шалишь! Шалишь, проклятый!» [7, с. 189-190] («Из воспоминаний рядового Иванова»). Встреча с противником в бою не просто буднична — она изначально лишена красоты и романтической

необычности: «... с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть...», [6, с. 25] – заметил Толстой в «Набеге».

В сценах атак, когда противники оказываются лицом к лицу, внимание Толстого и Гаршина обращено к внутреннему состоянию участников боя. В сознании человека, находящегося в состоянии наивысшего эмоционального напряжения, не может возникнуть целостной, завершенной картины происходящего. Поэтому барон Пест («Севастополь в мае»), участвуя в ночной атаке и при этом «не отдавая себе отчета, где и зачем он был» [6, с. 130], долго не мог понять, кого же он убил: «Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то..., другой человек кричал: *«Коли его! что смотришь?»*. Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. *«Ah! Dieu!»* – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза» [6, с.131. — Курсив автора.]. В таком же состоянии находился во время атаки герой гаршинских «Четырех дней»: «Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям... Я помню также, как я увидел его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него.. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное, пролетело мимо; в ушах зазвенело. *«Это он в меня выстрелил»*, – подумал я...Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало [7, с. 21. – Курсив автора.]

Изображение противника в военных рассказах Л.Н. Толстого и В.М. Гаршина в значительной степени зависит и от оценки объекта восприятия — противника, с которым пришлось столкнуться в бою самим писателям.

Художественное воплощение образа противника в кавказских рассказах Л.Н. Толстого – результат переосмысления автором концепции изображения Кавказа в русской литературе эпохи романтизма. Непосредственный опыт участия в Кавказской войне и стремление к объективности повествования заставили Толстого критически отнестись к романтическому образу Кавказа, состоящему из «воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар... бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место» [8]. Избавиться самому (и как человеку, и как писателю) и освободить читателя от романтических стереотипов – такую цель поставил перед собой Толстой в одном из ранних кавказских произведений – наброске 1852 года «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт». Реальный Кавказ лишен романтических мифов: «Черкесов нет – есть чеченцы, кумыки, абазехи и т.д., ... голубоглазых черкешенок нет... и мало ли еще чего нет. От многих еще звучных слов и поэтических образов должно вам будет отказаться, ежели вы будете читать мои рассказы» [8, с. 216].

Изображение противника в кавказских рассказах Л.Н. Толстого становится частью общей задачи реалистического изображения Кавказа и Кавказской войны. На этой войне, как замечает Толстой в «Записках о Кавказе...» нет «классической» линии фронта: «Вообще трудно определить, мирное или немирное пространство, занимаемое Чечней... Живут в нем, в аулах и крепостях, одни мирные татары и солдаты, но вне крепостей вы имеете столько же шансов встретить мирных, сколько и немирных жителей. Поэтому вне крепостей место ни мирное, ни немирное, т.е. опасное» [8, с. 216]. А значит, на войне, где весьма нечетки границы между «мирными» и «немирными», «своими» и «чужими», так же трудно определить «правых» и «неправых». Поэтому в

кавказских рассказах потребовался новый подход и к изображению противника, избавленный от категорически однозначных оценок.

В ранних вариантах «Набега» в рассуждения о том, на чьей стороне справедливость, была включена история чеченца Джеми, не вошедшая в окончательный вариант по цензурным соображениям. Узнав о приближении русских, горец «снимет со стены старую винтовку, ... побежит навстречу гяурам, ... увидев, что русские ... продвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все ... отнимут у него, в бесильной злобе ... запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках очертя голову бросится на штыки русских» [9]. И здесь же ставится под сомнение правота офицера, который «имеет в России семью, ... не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал служить на Кавказ так, ... чтобы показать свою храбрость» [9]. Тем не менее, сцена захвата аула в окончательном варианте «Набега» содержит ряд эпизодов, ставящих под сомнение справедливость действий русской армии. Вот что происходит в ауле после появления русского отряда: «Там рушится кровля, ... тут загорается стог сена, сакля» [6, с. 26-27]. Не без иронии упомянуто о том, как поручик Розенкранц взял в плен старого немощного татарина, «всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки» [6, с. 27].

Но старики, женщины и дети — это не тот противник, с которым достойно воевать. Капитан Хлопов, превосходно знающий боевые качества горцев, после захвата аула предупреждает: «Разве это называется неприятель? ... увидите, как провожать начнут, что их там высылет!» [6, с. 28]. Этот настоящий неприятель оценивается русскими как опасный и всегда достойный противник. «Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то» [6, с. 85. — Курсив автора.], — такие воспоминания остались о чеченцах у солдат в «Рубке леса».

Для русского человека Кавказ всегда был загадочным, сказочным краем. Сказочные небылицы рассказывал в отпуске солдат Чикин («Рубка леса») об «эзиятах» своим землякам: «Тоже спрашивают, какой, говорит, ... черкес... или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес... не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, ... ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят» [6, с. 61-62].

Сказочность «Капказа» влияет и на отношение русского солдата к противнику. Видя в полусотне шагов от себя бесстрашно джигитующего у крепостной стены горца, солдаты по-своему восхищаются его храбростью, приписывая ей почти волшебное происхождение: «Вишь, сволочь, не боится. Слово знает» [6, с. 381. — Курсив наш. — С.Л.].

В одном из эпизодов рассказа «Набег» передана атмосфера таинственности, которой в сознании горцев окружены имя Шамиля и сила его войска:

— Разве в горах уже знают, что отряд идет?...

— Эй! как можно не знает! всегда знает: наша народ такой!... Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид кругом. Шамиль середка будет! [6, с. 22-23]. Впрочем, Шамилем русский солдат может в шутку поугасть и бабу, боящуюся того, что горцы ворвутся в крепость («Как умирают русские солдаты»): «А, примерно, к Шамилю в жены не жалеете, тетушка?» [6, с. 380].

Пережитое во время участия в обороне Севастополя повлияло и на отношение к противнику в «Севастопольских рассказах». Даже будучи уверенным в мужестве и нравственной правоте русского солдата, Л.Н.Толстой, анализи-

руя причины поражения России в Крымской войне, размышлял и над тем, почему же «он» оказался сильнее. Упомянув в дневнике о встрече с английскими и французскими пленными, писатель делает вывод: «Один вид и походка этих людей почему-то внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска... У нас ... бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают внимание, последнюю искру гордости» [6, т. 21, с. 133]. Поэтому в «Севастопольских рассказах» противник, что бы ни писали о нем в «Русском Инвалиде» [6, с. 164-165], непосредственным участникам боев кажется сильнее. «Где тут отбить, когда его вся сила подошла» [6, с. 120. — Курсив автора], — с горечью признается солдат в рассказе «Севастополь в мае». Под воздействием того, что на русскую армию навалилась «вся сила», в сознании защитников Севастополя возникает обобщенный, абстрактный образ врага. Рассказывая об атаке французов, солдат («Севастополь в мае») вспоминает: «... как подскочили, как крикнут: алла, алла! так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь...» [6, с. 120]. В примечании к этому эпизоду Толстой указывает на то, что этот факт взят из реальной боевой обстановки: «Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «апла!» [6, с. 120] — а значит, «сила», с которой приходится сражаться, ассоциируется прежде всего с «нехристями» — турками.

В одном из эпизодов рассказа В.М. Гаршина «Трус» запечатлена та же ставшая бессознательной враждебность по отношению к туркам, но теперь уже на фоне событий русско-турецкой войны 1877-1878 гг. — войны, на которую писатель, уверенный в ее справедливом характере, ушел добровольцем. «Этого самого турку бить следует... — уверенно замечает пьяный солдатик. — Ежели бы он, например, без бунту, ... был бы я теперь дома... А то он бунтует, а нам огорчение.» [7, с. 66 — Курсив наш. — С.Л.]. «Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь» [7, с. 67], — вот все, что может сказать по этому поводу рассказчик — вольноопределяющийся из «образованных».

Похожую ситуацию мы наблюдаем и в рассказе В.М. Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова». Простой солдат толком не знает, в «бухарскую» или «бургарскую» (т.е. болгарскую) землю идет его полк. Рассказчик, образованный «барин Иванов», размышляя над этим, заключает: «Знали мы только, что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, ...что из-за него пришлось испытать трудный поход... Турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить» [7, с. 172. — Курсив наш. — С.Л.].

Сознание того, что «турку» надо «усмирить и покорить», надолго укрепилось в памяти русского солдата. В одном из эпизодов рассказа А.И. Куприна «Ночная смена» (1899) старый солдат «дядька» Замошников рассказывает сказку. В ней турецкий «салтан», не сумевший хитростью прогнать войско генерала Скобелева из «Турецкой земли», угрожает русскому генералу: «А ежели ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ. «...Нашел чем тращать: «По чарке водки дам!». А я вот своим солдатушкам три дня лопать ничего не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском сожрут, ...собачья образина, свиное твое ухо!». Как услышал эти слова турецкий салтан, сильно он... в ту пору испужался и сейчас подался на замирение» [10].

Угроза поражения пробуждает в русском солдате ненависть к врагу. В рассказе «Севастополь в декабре месяце» наблюдающий за севастопольскими буднями рассказчик отмечает в защитниках города «проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, ... – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого» [6, с. 98]. Чувство это таится и в душе артиллериста с четвертого бастиона, и в душе старухи, в чей дом попала бомба. В финале рассказа «Севастополь в августе» желание мстить превращается под тяжестью поражения в «чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам» [6, с. 207]: «Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий – дай срок» [6, с. 206], — обращается к французам, покидая Севастополь, солдат Васин в финале рассказа «Севастополь в августе».

Противоречивое переплетение чувств, возникающее у побежденного по отношению к победителю, воспроизводит А.И. Куприн в одном из эпизодов рассказа «Штабс-капитан Рыбников». Журналист Щавинский, провоцируя Рыбникова (японского шпиона) на саморазоблачение, начинает с похвал мужеству японцев: «Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга...» [10, т. 3, с. 21]. Но видя, что это не действует, журналист меняет тон: «Да, но все-таки жаль мне бедных макаков!.. Все-таки в конце концов японец – азиат, получеловек, полуобезьяна... Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм...» [10, т. 3, с. 23]. Перед нами одновременно и восхищение достойным противником, и стыд за поражение, и традиционный для европейца страх перед «дикостью» азиата с примесью неуклюжей официальной пропаганды. Впрочем, как создается образ врага в армии мирного времени, Куприн показал еще раньше, в повести «Поединок». Вот так это выглядит на занятиях по «словесности», т.е. по изучению устава:

– Кого мы называем врагами унешними?...

– Внешними врагами мы называем все те государства, с которыми нам приходится вести войну. Французы, немцы, атальянцы, турки, ивропейцы, ...

– Кого мы называем врагами у-ну-трен-ними?...

– Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жиды и поляки! [10, т. 2, с. 322-323].

Результат подобной «размытости» представлений о противнике – враждебное отношение ко всякому «чужаку», прежде всего иноверцу. Поэтому среди самых унижаемых солдат в армейской прозе Куприна непременно оказывается солдат-татарин, потому что «эти татары – самая несообразная нация. Потому что они ... на луну молятся и ничего по-нашему не понимают» [10, с. 59]. И полуграмотному фельдфебелю из рассказа «Дознание» оттого и кажется, что «их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится» [10, с. 59].

Таким образом, в русском военном рассказе XIX в. мы наблюдаем отказ от изображения противника как исключительно «плохого чужака». Авторами русской военной прозы передана закономерность, отмеченная военными психологами: «Образ врага как таковой вырисовывался только во время боевых операций. То есть враг – это тот, ... кто стреляет в тебя, в твоих друзей, и значит, ты должен его уничтожить, чтобы самому остаться живым» [1, с. 267]. К «чужаку» как таковому русский солдат никакой ненависти не испытывает. «Чужак» вне боя – такой же человек, гибель которого от рук себе подобных противостоит естественна. Толстой уже в «Набеге» задал вопрос: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете...?» [6, с. 21]. В рассказе «Севастополь в мае», наблюдая за тем, как мирно беседуют во время перемирия русские и французы, несколько часов назад стрелявшие друг в друга, и с каким «види-

мым неудовольствием» [6, с. 143] они расходятся, когда им не дают договорить, автор недоумевает, почему враждуют «эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения...» [6, с. 144]. Потому так чудовищно нелеп для Толстого вид обезглавленного трупа на усыпанном цветами поле, оттого так тяжело герою гаршинских «Четырех дней», убившему египтянина, который оказался на войне не по своей воле...

ЛИТЕРАТУРА

1. **Сеняевская Е.С.** Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999. С. 252.
2. **Былины:** Сборник / Вступ. ст., сост., подгот. текстов и примеч. **Б.Н. Путилова.** Л., 1986. С. 371
3. **Домановский Л.В.** Крымская война в русском народном творчестве / Русский фольклор. Вып. VI. М.-Л., 1961. С. 255.
4. **Пушкин А.С.** Избранные произведения: В 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 413.
5. **А.И. Куприн о литературе** / Сост. **Ф.И. Кулешов.** Мн., 1969. С. 36.
6. **Толстой Л.Н.** Собр. соч.: В 22 т. М., 1978-1985. Т. 2. С. 23.
7. **Гаршин В.М.** Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма / Сост. **В.И. Порудоминский.** М., 1984. С. 33.
8. **Толстой Л.Н.** Полное собрание сочинений: В 90 т. / Под общ. ред. **В.Г. Черткова.** М.-Л., 1932. Т. 3. С. 215.
9. **Бурнашова Н.И.** Раннее творчество Л.Н. Толстого: текст и время. М., 1999. С. 169.
10. **Куприн А.И.** Собр. соч.: В 5 т. М., 1982. Т. 1. С. 325.

S U M M A R Y

The article deals with the problem of comprehension of an enemy in the Russian war story of the XIXth century (L.N. Tolstoy, V.M. Garshin, A.I. Kuprin).

Literary aspects of depicting an enemy are considered taking into account historical and psychological aspects of the problem.

Поступила в редакцию 5.03.2003